



## В. Г. БЕЛИНСКИЙ

### Литературные мечтания (Элегия в прозе)

<...>

Что такое литература?

Одни говорят, что под литературою какого-либо народа должно разуметь весь круг его умственной деятельности, проявившейся в письменности. <...> Если так, то у нас есть литература, и литература, богатая громкими именами и не менее того громкими сочинениями.

Другие под словом «литература» понимают собрание известного числа изящных произведений, то есть, как говорят французы, *chef d'oeuvres de litterature*\*. И в этом смысле у нас есть литература, ибо мы можем похвалиться большим или меньшим числом сочинений Ломоносова, Державина, Хемницера, Крылова, Грибоедова, Батюшкова, Жуковского, Пушкина, Озерова, Загоскина, Лажечникова, Марлинского, кн. Одоевского и еще некоторых других. Но есть ли хотя один язык на свете, на коем бы не было скольких-нибудь образцовых художественных произведений, хотя народных песен? Удивительно ли, что в России, которая обширностию своею превосходит всю Европу, а народонаселением каждое европейское государство, отдельно взятое, удивительно ли, что в этой новой Римской империи явилось людей с талантами более, нежели, например, в какой-нибудь Сербии, Швеции, Дании и других крохотных земельках? Все это в порядке вещей, и из всего этого еще отнюдь не следует, чтобы у нас была литература.

Но есть еще третье мнение, не похожее ни на одно из обоих предыдущих, мнение, вследствие которого литературою называется собрание такого рода художественно-словесных произведений, которые суть плод свободного вдохновения и дружных (хотя и неусловленных) усилий людей, созданных для искусства, дышащих для одного его и уничтожающихся вне его, вполне выражающих и воспроизводящих в своих

---

\* Образцовые литературные произведения (фр.). — *Ред.*

изящных созданиях дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений. В истории такой литературы нет и не может быть скачков: напротив, в ней все последовательно, все естественно, нет никаких насильственных или принужденных переломов, происшедших от какого-нибудь чуждого влияния. <...>

Итак, оправдывает ли наша словесность последнее определение литературы, приведенное мною? Чтобы решить этот вопрос, бросим беглый взгляд на ход нашей литературы от Ломоносова, первого ее гения, до г-на Кукольника, последнего ее гения.

<...>

Да — первые попытки были слишком слабы и неудачны. Но вдруг, по прекрасному выражению одного нашего соотечественника, на берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов<sup>1</sup>. Ослепительно и прекрасно было это явление! Оно доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и прекрасному не менее всякого европейца; но вместе с тем, говорю, это утешительное явление подтвердило, к нашему несчастью, и ту неопровержимую истину, что ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника, что гений народа всегда робок и связан, когда действует не своеобразно, не самостоятельно, что его произведения, в таком случае, всегда будут походять на поддельные цветы: яркие, красивы, роскошны, но не душисты, не ароматны, безжизненны. С Ломоносова начинается наша литература; он был ее отцом и пестуном... <...> Ломоносов — это Петр нашей литературы: вот, кажется мне, самый верный взгляд на него. В самом деле, не замечаете ли вы поразительного сходства в образе действия сих великих людей, равно как и в следствиях сего образа действия? На берегах Северного океана, в царстве зимы и смерти, родился у бедного рыбака сын. Ребенка мучит какой-то неведомый демон, не дает ему покоя ни днем, ни ночью, шепчет ему на ухо какие-то дивные речи, от которых сильнее трепещет его сердце, жарче кипит его кровь; на что ни взглянет этот ребенок, ему хочется знать: откуда это, почему и как; бесконечные вопросы давят и тяготят его юную душу — и нет ответов! Он выучивается кое-как грамоте; тайные внушения его докучного демона раздаются в его душе, как обольстительные звуки Вадимова колокольчика, и манят его в туманную даль...<sup>2</sup> И вот он оставляет отца своего и бежит в Москву белокаменную. Беги, беги, юноша! Там узнаешь ты все, там утолишь в источнике знания свою мучительную жажду! Но, увы! надежда обманула тебя: жажда твоя еще сильнее — ты

только пуще раздражил ее. Дальше, дальше, смелый юноша! Туда, в ученую Германию, там сады райские, а в тех садах древо жизни, древо познания, древо добра и зла... Сладки плоды его — спешите вкушать их... И он бежит, он вступает в очаровательные сады, и видит искусительное древо, и жадно пожирает плоды его. Сколько чудес, сколько очарований! Как жалеет он, что не может разом всего захватить с собою и перенести в *драгое отечество*, в святую родину!.. Однако ж... нельзя ли как попытаться?.. Ведь он русский, стало быть, ему все под силу, все возможно; ведь его ожидает Шувалов<sup>3</sup>; стало быть, ему нечего страшиться предрассудков, врагов и завистников!.. И вот Русь оглашается одами, смотрит на трагедии, восхищается эпопеею, смеется над побасенками, слушает Цицерона и Демосфена и важно рассуждает об электричестве и громовых отводах: чего же медлить? Не правда ли, что и сам Петр воскликнул бы с удовольствием: «Это по-нашему»! Но и с Ломоносовым сбылось то же, что с Петром. Прельщенный блеском иноземного просвещения, он закрыл глаза для родного. Правда, он выучил в детстве наизусть варварские вирши Симеона Полоцкого, но оставил без внимания народные песни и сказки. Он как будто и не слышал о них. Замечаете ли вы в его сочинениях хотя слабые следы влияния летописей и вообще народных преданий земли русской? Нет — ничего этого не бывало. Говорят, что он глубоко постиг свойства языка русского! Не спорю — его «Грамматика»<sup>4</sup> дивное, великое дело. Но для чего же он паялил и корчил русский язык на образец латинского и немецкого? Почему каждый период его речей набит без всякой нужды таким множеством вставочных предложений и заострен на конце глаголом? Разве этого требовал гений языка русского, разгаданный сим великим человеком? Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими законами. И в сем последнем случае нельзя довольно надивиться гению Ломоносова: у него есть строфы языка и целые стихотворения, которые по чистоте и правильности языка весьма приближаются к нынешнему времени. Следовательно, его погубила слепая подражательность; следовательно, она одна виною, что его никто не читает, что он не признан и забыт народом и что о нем помнят одни записные литераторы. Некоторые говорят, что он был великий ученый и великий оратор, но совсем не поэт; напротив, он был больше поэт, чем оратор; скажу больше: он был великий поэт и плохой оратор. Ибо что такое его *похвальные слова*? Набор громких слов и общих мест, частью взятых напрокат из древних витий, частью принадлежащих ему, плоды заказной работы, где одна только шумиха и возгласы, а отнюдь не выражение горячего, живого и неподдельного чувства, которое одно бывает источником истинного красноречия. Некоторые места, прекрасные по слогу, ничего не доказывают: мы и теперь очень мало нуждаемся в красноречии, а тем

меньше тогда нуждались в нем; следовательно, оно родилось без всякой нужды, из одной подражательности, и потому не могло быть удачным. Но стихотворения Ломоносова носят на себе отпечаток гения. Правда, у него и в них ум преобладает над чувством, но это происходило не от чего иного, как от того, что жажда к знанию поглощала все существо его, была его господствующею страстью. Он всегда держал свою энергическую фантазию в крепкой узде холодного ума и не давал ей слишком разыгрываться. <...> Он был рожден лириком, и звуки его лиры там, где он не стеснял себя системою, были стройны, высоки и величественны...

<...>

Невозможно исчислить неисчислимых красот созданий Державина. Они разнообразны, как русская природа, но все отличаются одним общим колоритом: во всех них воображение преобладает над чувством, и все представляется в преувеличенных, гиперболических размерах. <...> Притом же не забудьте, что ум Державина был ум русский, положительный, чуждый мистицизма и таинственности, что его стихиею и торжеством была природа внешняя, а господствующим чувством патриотизм, что в сем случае он был только верен своему бессознательному направлению и, следовательно, был истинен. Как страшна его ода «На смерть Мещерского»: кровь стынет в жилах, волосы, по выражению Шекспира, встают на голове встревоженною ратью, когда в ушах ваших раздается вещей бой *глагола времен*, когда в глазах мерещится ужасный остов смерти с косою в руках! Какою энергическою и дикою красотою дышит его «Водопад»: это песнь угрюмого севера, пропетая сребровласым скальдом во глубине священного леса, среди мрачной ночи, у пылающего дуба, зажженного молниею, при оглушающем реве водопада!

Его послания и сатиры представляют совсем другой мир, не менее прекрасный и очаровательный. В них видна практическая философия ума *русского*; посему главное отличительное их свойство есть народность, *народность*, состоящая не в подборе мужицких слов или насильственной подделке под лад песен и сказок, но в сгибе ума русского, в русском образе взгляда на вещи. В сем отношении Державин народен в высочайшей степени. <...> Вообще надобно заметить, что его *невежество* было причиною его *народности*, которой, впрочем, он не знал цены; оно спасло его от подражательности, и он был оригинален и народен, сам не зная того. Обладай он всеобъемлющею ученостию Ломоносова — и тогда прости, поэт! Ибо, чего доброго? он пустился бы, пожалуй, в трагедии и, всего вернее, в эпопею: его неудачные опыты в драме доказывают справедливость такого предположения. Но судьба спасла его — и мы имеем в Державине *великого, гениального русского* поэта, который был верным эхом жизни русского народа, верным отголоском века Екатерины II.

<...>

Карамзин отметил своим именем эпоху в нашей словесности; его влияние на современников было так велико и сильно, что целый период нашей литературы от девяностых до двадцатых годов по справедливости называется периодом *Карамзинским*. Одно уже это доказывает, что Карамзин, по своему образованию, целою головою превышал своих современников. <...>

Представьте себе общество разнохарактерное, разнородное, можно сказать, разноплеменное; одна часть его читала, говорила, мыслила и молилась Богу на французском языке; другая знала наизусть Державина и ставила его наравне не только с Ломоносовым, но и с Петровым<sup>5</sup>, Сумароковым и Херасковым; первая очень плохо знала русский язык; вторая была приучена к напыщенному, схоластическому языку автора «Россиады» и «Кадма и Гармонии»<sup>6</sup>; общий же характер обеих состоял из полудикости и полуобразованности; словом, общество с охотою к чтению, но без всяких светлых идей об литературе. И вот является юноша, душа которого была отверзта для всего благого и прекрасного, но который, при счастливых дарованиях и большом уме, был обделен просвещением и ученою образованностию, как увидим ниже. Не ставши наравне с своим веком, он был несравненно выше своего общества. Этот юноша смотрел на жизнь, как на подвиг, и, полный сил юности, алкал славы авторства, алкал чести быть споспешествователем успехов отечества на пути к просвещению, и вся его жизнь была этим святым и прекрасным подвижничеством. Не правда ли, что Карамзин был человек необыкновенный, что он достоин высокого уважения, если не благоговения? Но не забывайте, что не должно смешивать *человека с писателем и художником*. <...> Карамзин был одарен от природы верным музыкальным ухом для языка и способностью объясняться плавно и красно, следовательно, ему не трудно было преобразовать язык. Говорят, что он сделал наш язык сколком с французского, как Ломоносов сделал его сколком с латинского: это справедливо только отчасти. Вероятно, Карамзин старался писать как говорится. Погрешность его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку простолюдинов и не изучал вообще родных источников. Но он исправил эту ошибку в своей «Истории». <...> Воля ваша, гг. поклонники Карамзина, а я скорее соглашусь читать повести Барона Брамбеуса, чем «Бедную Лизу» или «Наталью, боярскую дочь»! Другие времена, другие нравы! Повести Карамзина приучили публику к чтению, многие выучились по ним читать; будем же благодарны их автору; но оставим их в покое, даже вырвем их из рук наших детей, ибо они наделают им много вреда: растлят их чувство приторною чувствительностию.

Кроме сего, сочинения Карамзина теряют в наше время много достоинства еще и оттого, что он редко был в них *искренен* и *естествен*.

<...> ...ныне едва ли найдется такой добренький простачок, который бы поверил, что обильные потоки слез Карамзина изливались от души и сердца, а не были любимым кокетством его таланта, привычными ходульками его авторства. Подобная ложность и натянутость чувства тем жалостнее, когда автор человек с дарованием. <...>

«История государства российского» есть важнейший подвиг Карамзина; он отразился в ней весь со всеми своими недостатками и достоинствами. Не берусь судить о сем произведении ученым образом, ибо, признаюсь откровенно, этот труд был бы далеко не под силу мне. Мое мнение (весьма не новое) будет мнением любителя, а не знатока. Сообразив все, что было сделано для систематической истории до Карамзина, нельзя не признать его труда подвигом исполинским. Главный недостаток оного состоит в его взгляде на вещи и события, часто детском и всегда, по крайней мере, не мужеском; в ораторской шумихе и неуместном желании быть наставительным, поучать там, где сами факты говорят за себя; в пристрастии к героям повествования, делающим честь сердцу автора, но не его уму. Главное достоинство его состоит в занимательности рассказа и искусном изложении событий, нередко в художественной обрисовке характеров, а более всего в слоге, в котором Карамзин решительно торжествует здесь. В сем последнем отношении у нас и по сию пору не написано еще ничего подобного. В «Истории государства российского» слог Карамзина есть слог русский по преимуществу; ему можно поставить в параллель только в стихах «Бориса Годунова» Пушкина. Это совсем не то, что слог его мелких сочинений; ибо здесь автор черпал из родных источников, упитан духом исторических памятников; здесь его слог, за исключением первых четырех томов, где по большей части одна риторическая шумиха, но где все-таки язык удивительно обработан, имеет характер важности, величавости и энергии и часто переходит в истинное красноречие. Словом, по выражению одного нашего критика, в «Истории государства российского» языку нашему воздвигнут такой памятник, о который время изломает свою косу. Повторяю: имя Карамзина бессмертно, но сочинения его, исключая «Историю», уже умерли и никогда не воскреснут!..

<...>

За *Карамзинским* периодом нашей словесности последовал период *Пушкинский*, продолжавшийся почти ровно десять лет. Говорю *Пушкинский*, ибо кто не согласится, что Пушкин был главою этого десятилетия, что все тогда шло от него и к нему? Впрочем, я не то здесь думаю, чтобы Пушкин был для своего времени совершенно то же, что Карамзин для своего. Одно уж то, что его деятельность была бесознательною деятельностью художника, а не практическою и преднамеренною деятельностью писателя, полагает большую разницу

между им и Карамзиным. Пушкин владычествовал единственно силою своего таланта и тем, что он был сыном своего века; владычество же Карамзина в последнее время основывалось на слепом уважении к его авторитету. Пушкин не говорил, что поэзия есть то или то, а наука есть это или это; нет: он своими созданиями дал мерило для первой и до некоторой степени показал *современное* значение другой. <...> ...чрезмерное влияние Пушкина происходило оттого, что, в отношении к России, он был сыном своего времени в полном смысле сего слова, что он шел наравне с своим отечеством, был представителем развития его умственной жизни; следовательно, его владычество было законное. <...> Появление Пушкина было зрелищем умирительным; поэт-юноша, благословенный помазанным старцем Державиным, стоявшим на краю гроба и готовившимся склонить в него свою лавровенчанную главу; поэт-муж, подающий к нему руку чрез неизмеримую пропасть целого столетия, разделявшего, в нравственном смысле, два поколения; наконец, ставший подле него и вместе с ним образующий двойственное, лучезарное созвездие на пустынном небосклоне нашей литературы!..

*Классицизм* и *романтизм* — вот два слова, коими огласился *Пушкинский* период нашей словесности; вот два слова, на кои были написаны книги, рассуждения, журнальные статьи и даже стихотворения, с коими мы засыпали и просыпались, за кои дрались насмерть, о коих спорили до слез и в классах и в гостиных, и на площадях и на улицах! <...> ...*романтизм* был не иное что, как возвращение к естественности, а следственно, самобытности и народности в искусстве, предпочтение, оказанное идее над формою, и свержение чуждых и тесных форм древности, которые к произведениям новейшего искусства шли точно так же, как идет к напудренному парикю, шитому камзолу и выбритой бороде греческий хитон или римская тога. Отсюда следует, что этот так называемый *романтизм* был очень старая новость, а отнюдь не чадо XIX века; был, так сказать, *народностью* нового христианского мира Европы. <...>

В Европе *классицизм* был не что иное, как литературный *католицизм*: что же такое был <он> в России? Не трудно отвечать на этот вопрос: в России *классицизм* был ни больше ни меньше, как слабый отголосок европейского эха, для объяснения коего совсем не нужно ездить в Индию на пароходе «Джон Буль». Пушкин не натягивался, был всегда истинен и искренен в своих чувствах, творил для своих идей свои формы: вот его романтизм. В этом отношении и Державин был почти такой же романтик, как и Пушкин; причина этому, повторяю, скрывается в его *невежестве*. Будь этот человек учен — и у нас было бы два Хераскова, коих было бы трудно отличить друг от друга.

<...> ...период *Пушкинский* был ознаменован движением жизни в высочайшей степени. В это десятилетие мы переживали, переиспытывали

и пережили всю умственную жизнь Европы, эхо которой отдалось к нам через Балтийское море. Мы обо всем пересудили, обо всем переспорили, все усвоили себе, ничего не взрастивши, не взлелеявши, ни создавши сами. За нас трудились другие, а мы только брали готовое и пользовались им: в этом-то и заключается тайна невероятной быстроты наших успехов и причина их невероятной непрочности. Этим же, кажется мне, можно объяснить и то, что от этого десятилетия, столь живого и деятельного, столь обильного талантами и гениями, уцелел едва один Пушкин и, осиротелый, теперь с грустью видит, как имена, вместе с ним взошедшие на горизонт нашей словесности, исчезают одно за другим в пучине забвения, как исчезает в воздухе недосказанное слово... <...>

Подобно Карамзину, Пушкин был встречен громкими рукоплесканиями и свистом, которые только недавно перестали его преследовать. Ни один поэт на Руси не пользовался такою народностью, такою славою при жизни, и ни один не был так жестоко оскорбляем. И кем же? Людьями, которые сперва пресмыкались пред ним во прахе, а потом кричали: chute complete!\* Людьями, которые велегласно объявляли о себе, что у них в мизинцах больше ума, чем в головах всех наших литераторов<sup>7</sup>: дивные мизинчики, любопытно бы взглянуть на них. Но не о том дело. Вспомните состояние нашей литературы до двадцатых годов. Жуковский уже совершил тогда большую часть своего поприща; Батюшков умолк навсегда; Державиным восхищались вместе с Сумароковым и Херасковым по лекциям Мерзлякова<sup>8</sup>. Не было жизни, не было ничего нового; все тащилось по старой колее; как вдруг появились «Руслан и Людмила», создание, решительно не имевшее себе образца ни по гармонии стиха, ни по форме, ни по содержанию. <...>

Пушкин был совершенным выражением своего времени. Одаренный высоким поэтическим чувством и удивительною способностью принимать и отражать все возможные ощущения, он перепробовал все тоны, все лады, все аккорды своего века; он заплатил дань всем великим современным событиям, явлениям и мыслям, всему, что только могла чувствовать тогда Россия, переставшая верить в несомненность *вековых правил, самую мудростию извлеченных из писаний великих гениев*, и с удивлением узнавшая о других правилах, о других мирах мыслей и понятий и новых, неизвестных ей дотоле, взглядах на давно известные ей дела и события. Несправедливо говорят, будто он подражал Шенье, Байрону и другим: Байрон владел им не как образец, но как явление, как властитель дум века, а я сказал, что Пушкин заплатил свою дань каждому великому явлению. Да — Пушкин был выражением современного ему мира, представителем современного ему человечества; но мира

---

\* Полное падение! (фр.) — Ред.



русского, но человечества русского. <...> Баловень природы, он, шая и играя, похищал у ней пленительные образы и формы, и, снисходительная к своему любимцу, она роскошно оделяла его теми цветами и звуками, за которые другие жертвуют ей наслаждениями юности, которые покупают у ней ценою отречения от жизни... Как чародей, он в одно и то же время исторгал у нас и смех и слезы, играл по воле нашими чувствами... Он пел, и как изумлена была Русь звуками его песен: и не диво, она еще никогда не слыхала подобных; как жадно прислушивалась она к ним: и не диво, в них трепетали все нервы ее жизни! Я помню это время, счастливое время, когда в глуши провинции, в глуши уездного городка<sup>9</sup>, в летние дни, из растворенных окон носились по воздуху эти звуки, подобные *шуму волн*<sup>10</sup> или *журчанию ручья*...<sup>11</sup>

Невозможно обозреть всех его созданий и определить характер каждого: это значило бы перечесть и описать все деревья и цветы Армидина сада<sup>12</sup>. У Пушкина мало, очень мало мелких стихотворений; у него по большей части все поэмы: его поэтические тризны над урнами великих, то есть его «Андрей Шень», его *могучая беседа* с морем, его *вещая дума* о Наполеоне — поэмы. Но самые драгоценные алмазы его поэтического венка, без сомнения, суть «Евгений Онегин» и «Борис Годунов». Я никогда не кончил бы, если бы начал говорить о сих произведениях.

Пушкин царствовал десять лет: «Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет; этот вопрос, это гамлетовское *быть или не быть* скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анджело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье»<sup>13</sup> и «Библиотеке для чтения»<sup>14</sup>, мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю. Где теперь эти звуки, в коих слышалось, бывало, то удалое разгулье, то сердечная тоска, где эти вспышки пламенного и глубокого чувства, потрясавшего сердца, сжимавшего и волновавшего груди, эти вспышки остроумия тонкого и язвительного, этой иронии, вместе злой и тоскливой, которые поражали ум своею игрою; где теперь эти картины жизни и природы, перед которыми была бледна жизнь и природа?.. Увы! вместо их мы читаем теперь стихи с правильною цезурой, с богатыми и полубогатыми рифмами, с пиитическими вольностями, о коих так пространно, так удовлетворительно и так глубокомысленно рассуждали архимандрит Аполлос<sup>15</sup> и г. Остолопов!..<sup>16</sup> <...> О Пушкине судить не легко. Вы, верно, читали его «Элегию» в октябрьской книжке «Библиотеки для чтения»<sup>17</sup>? Вы, верно, были потрясены глубоким чувством, которым дышит это создание? Упомянутая «Элегия», кроме утешительных надежд, подаваемых ею

о Пушкине, еще замечательна и в том отношении, что заключает в себе самую верную характеристику Пушкина как художника:

Порой опять гармонией упьюсь,  
Над вымыслом слезами обольюсь.

Да, я свято верю, что он вполне разделял безотрадную муку отверженной любви черноокой черкешенки или своей пленительной Татьяны, этого лучшего и любимейшего идеала его фантазии; что он, вместе с своим мрачным Гиреем, томился этою тоскою души, пресыщенной наслаждениями и все еще не ведавшей наслаждения; что он горел неистовым огнем ревности, вместе с Заремою и Алеко, и упивался дикою любовью Земфиры; что он скорбел и радовался за свои идеалы, что *журчание его стихов* согласовалось с его рыданиями и смехом... Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин подарит нас новыми созданиями, которые будут выше прежних...

<...>

Теперь мне остается сказать об одном поэте, не похожем ни на одного изо всех упомянутых мною, поэте оригинальном и самобытном, не признавшем над собою влияния Пушкина и едва ли не равном ему: говорю о Грибоедове. Этот человек слишком много надежд унес с собою во гроб. Он был назначен быть творцом русской комедии, творцом русского театра.

<...>

Грибоедова комедия или драма (я не совсем хорошо понимаю различие между этими двумя словами; значение же слова *трагедия* совсем не понимаю) давно ходила в рукописи. О Грибоедове, как и о всех примечательных людях, было много толков и споров; ему завидовали некоторые наши гении, в то же время удивлявшиеся «Ябеде» Капниста; ему не хотели отдавать справедливости те люди, кои удивлялись гг. АВ, СД, ЕФ и пр. Но публика рассудила иначе: еще до печати и представления рукописная комедия Грибоедова разлилась по России бурным потоком<sup>18</sup>.

*Комедия*, по моему мнению, есть такая же драма, как и то, что обыкновенно называется *трагедиею*; ее предмет есть представление жизни в противоречии с идеею жизни; ее элемент есть не то невинное остроумие, которое добродушно издевается над всем из одного желания позубоскалить; нет: ее элемент есть этот желчный *гумор*, это грозное негодование, которое не улыбается шутливо, а хохочет яростно, которое преследует ничтожество и эгоизм не эпиграммами, а сарказмами. Комедия Грибоедова есть истинная *divina comedia!*\* Это совсем не смешной анекдотец, переложен-

---

\* Божественная комедия (*итал.*). — *Ред.*

ный на разговоры, не такая комедия, где действующие лица нарицаются Добряковыми, Плутоватыными, Обираловыми и пр.; ее персонажи давно были вам известны в натуре, вы видели, знали их еще до прочтения «Горя от ума», и однако ж вы удивляетесь им, как явлениям совершенно новым для вас: вот высочайшая истина поэтического вымысла! Лица, созданные Грибоедовым, не выдуманы, а сняты с природы во весь рост, почерпнуты со дна действительной жизни; у них не написано на лбах их добродетелей и пороков; но они заклеены печатью своего ничтожества, заклеены мстительною рукою палача-художника. Каждый стих Грибоедова есть сарказм, вырвавшийся из души художника в пылу негодования; его слог есть *par excellence*\* разговорный. Недавно один из наших примечательнейших писателей, слишком хорошо знающий общество, заметил, что только один Грибоедов умел переложить на стихи разговор нашего общества<sup>19</sup>; без всякого сомнения, это не стоило ему ни малейшего труда; но тем не менее это все-таки великая заслуга с его стороны, ибо разговорный язык наших комиков... Но я уже обещался не говорить о наших комиках... Конечно, это произведение не без недостатков в отношении к своей целостности, но оно было первым опытом таланта Грибоедова, первую русскою комедию; да и сверх того, каковы бы ни были эти недостатки, они не помешают ему быть образцовым, гениальным произведением и не в русской литературе, которая в Грибоедове лишилась Шекспира комедии...

<...>

Тридцатый, холерный год был для нашей литературы истинным черным годом, истинно роковою эпохою, с коей начался совершенно новый период ее существования, в самом начале своем резко отличившийся от предыдущего. Но не было никакого перехода между этими двумя периодами; вместо его был какой-то насильственный перерыв. Подобные противоестественные скачки, по моему мнению, всего лучше доказывают, что у нас нет литературы, а следовательно, нет и истории литературы; ибо ни одно явление в ней не было следствием другого явления, ни одно событие не вытекало из другого события. История нашей словесности есть ни больше ни меньше, как история неудачных попыток, посредством слепого подражания иностранным литературам, создать свою литературу; но литературу не создают; она создается так, как создаются без воли и ведома народа язык и обычаи. Итак, тридцатым годом кончился или, лучше сказать, внезапно оборвался период *Пушкинский*, так как кончился и сам Пушкин, а вместе с ним и его влияние; с тех пор почти ни одного бывалого звука не сорвалось с его лиры. Его сотрудники, его товарищи по художественной деятельности, допевали свои старые песни, свои обычные мечты, но уже никто не слушал их. <...>

---

\* Преимущественно (фр.). — Ред.

Итак, настал новый период словесности. Кто же явился главою этого нового, этого *четвертого* периода нашей недорослой словесности? Кто, подобно Ломоносову, Карамзину и Пушкину, овладел общественным вниманием и мнением, самодержавно правил последним, положил печать своего гения на произведения своего времени, сообщил ему жизнь и дал направление современным талантам? Кто, говорю я, явился солнцем этой новой мировой системы? Увы! никто, хотя и многие претендовали на это высокое титло. Еще в первый раз литература явилась без верховной главы и из огромной монархии распалась на множество мелких, независимых одно от другого государств, завистливых и враждебных одно другому. <...>

*Романтизм* — вот первое слово, огласившее *Пушкинский* период; *народность* — вот альфа и омега нового периода. Как тогда всякий бумагомаратель из кожи лез, чтобы прослыть *романтиком*, так теперь всякой литературный шут претендует на титло *народного* писателя. *Народность* — чудное словечко! Что перед ним ваш *романтизм*! В самом деле, это стремление к народности весьма замечательное явление. Не говоря уже о наших романистах и вообще новых писателях, взгляните, что делают заслуженные корифеи нашей словесности. Жуковский, этот поэт, гений которого всегда был прикован к туманному Альбиону и фантастической Германии, вдруг забыл своих паладинов, с ног до головы закованных в сталь, своих прекрасных и верных принцесс, своих колдунов и свои очарованные замки — и пустился писать русские сказки... Нужно ли доказывать, что эти русские сказки так же не в ладу с русским духом, которого в них слыхом не слыхать и видом не видать, как не в ладу с русскими сказками греческий или немецкий гекзаметр?.. Но не будем слишком строги к этому заблуждению могущественного таланта, увлекающегося духом времени; Жуковский вполне совершил свое поприще и свой подвиг: мы больше не вправе ничего ожидать от него. Вот другое дело Пушкин: странно видеть, как этот необыкновенный человек, которому ничего не стоило быть народным, когда он не старался быть народным, теперь так мало народен, когда решительно хочет быть народным; странно видеть, что он теперь выдает нам за нечто важное то, что прежде бросал мимоходом, как избыток или роскошь. Мне кажется, что это стремление к народности произошло оттого, что все живо почувствовали непрочность нашей подражательной литературы и захотели создать народную, как прежде силились создать подражательную. Итак, опять цель, опять усилия, опять старая погудка на новый лад? Но разве Крылов потому народен в высочайшей степени, что старался быть народным? Нет, он об этом нимало не думал: он был народен, потому что не мог не быть народным: был народен бессознательно и едва ли знал цену этой народности, которую усвоил созданием своим без всякого труда и усилия. По крайней мере, его современники мало умели ценить в нем это

достоинство: они часто упрекали его за *низкую природу* и ставили на одну с ним доску прочих баснописцев, которые были несравненно ниже его. Следовательно, наши литераторы, с такою ревностью заботящиеся о *народности*, хлопочут по-пустому. И в самом деле, какое понятие имеют у нас вообще о народности? Все, решительно все смешивают ее с *просто народностью* и отчасти с тривиальностью. Но это заблуждение имеет свою причину, свое основание, и на него отнюдь не должно нападать с ожесточением. Скажу более: в отношении к русской литературе нельзя иначе понимать *народности*. Что такое народность в литературе? Отпечаток народной физиономии, тип народного духа и народной жизни; но имеем ли мы свою народную физиономию? Вот вопрос трудный для решения. Наша национальная физиономия всего больше сохранилась в низких слоях народа; посему наши писатели, разумеется владеющие талантом, бывают народны, когда изображают, в романе или драме, нравы, обычаи, понятия и чувствования черни. Но разве одна чернь составляет народ? Ничуть не бывало. Как голова есть важнейшая часть человеческого тела, так среднее и высшее сословие составляют народ по преимуществу. Знаю, что человек во всяком состоянии есть человек, что простолюдин имеет такие же страсти, ум и чувство, как и вельможа, и посему так же, как и он, достоин поэтического анализа; но высшая жизнь народа преимущественно выражается в его высших слоях или, вернее всего, в целой идее народа. Посему, избрав предметом своих вдохновений одну часть оного, вы непременно впадаете в односторонность. Равным образом, вы не избежите этой крайности и отмежевав для своей творческой деятельности нашу историю до Петра Великого. Высшие же слои народа у нас еще не получили определенного образа и характера; их жизнь мало представляет для поэзии. <...> ...наша народность покуда состоит в верности изображения картин русской жизни, но не в особенном духе и направлении русской деятельности, которые бы проявлялись равно во всех творениях, независимо от предмета и содержания оных. Всем известно, что французские классики *офранцузивали* в своих трагедиях греческих и римских героев: вот истинная народность, всегда верная самой себе и в искажении творчества! Она состоит в образе мыслей и чувствований, свойственных тому или другому народу. Я свято верю в гениальность Гете, хотя по незнанию немецкого языка чрезвычайно мало знаком с ним; но, признаюсь, плохо верю *эллинизму* его «Ифигении»: чем выше гений, тем более он сын своего века и гражданин своего мира, и подобные попытки с его стороны выразить совершенно чуждую ему народность всегда предполагают подделку более или менее неудачную. Итак, есть ли у нас народность литературы в этом смысле? Нет, да покуда, при всех благородных желаниях просвещенных патриотов, и быть не может. Наше общество еще слишком юно, еще не установилось, еще не освободилось от европейской опеки; его

физиономия еще не выяснилась и не выформировалась. «Кавказского пленника», «Бахчисарайский фонтан», «Цыган» мог написать всякий европейский поэт, но «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова» мог написать только поэт русский. *Безотносительная* народность доступна только для людей, свободных от чуждых иноземных влияний, и вот почему народен Державин. Итак, *наша народность состоит в верности изображения картин русской жизни.* <...>

Я начал мою статью с того, что у нас нет литературы: не знаю, убедил ли вас в этой истине мое обозрение; только знаю, что если нет, то в том виновато мое неумение, а отнюдь не то, чтобы доказываемое мною положение было ложно. В самом деле, Державин, Пушкин, Крылов и Грибоедов — вот все ее представители; других покуда нет, и не ищите их. Но могут ли составить целую литературу четыре человека, являвшиеся не в одно время? И притом, разве они были не случайными явлениями? <...> Где же, спрашиваю вас, литература? У нас было много талантов и талантиков, но мало, слишком мало художников по призванию, то есть таких людей, для которых писать и жить, жить и писать одно и то же, которые уничтожаются вне искусства, которым не нужно протекций, не нужно меценатов, или, лучше сказать, которые гибнут от меценатов, которых не убивают ни деньги, ни отличия, ни несправедливости, которые до последнего вздоха остаются верными своему святому призванию. У нас была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романов и повестей, теперь наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось; мода на романы видимо проходит; теперь терзаем драму. И все это без причины, все это из подражательности: когда же наступит у нас истинная эпоха искусства?

Она наступит, будьте в том уверены! Но для этого надо сперва, чтобы у нас образовалось общество, в котором бы выразилась физиономия могучего русского народа, надобно, чтобы у нас было просвещение, созданное нашими трудами, возвращенное на родной почве. У нас нет литературы: я повторяю это с восторгом, с наслаждением, ибо в сей истине вижу залог наших будущих успехов. <...> Да! в настоящем времени зреют семена для будущего! И они взойдут и расцветут пышно и великолепно, по гласу чадолюбивых монархов! И тогда будем мы иметь *свою* литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцев... <...>

*Чембар. 1834, декабря 12 дня*

